



Эрих Мария
РЕМАРК

История любви
Анны



Annotation

Слишком объемный для молодого человека жизненный опыт требовал творческой реализации: вслед за многочисленными очерками и журналистскими публикациями в 1929 году появился роман На Западном фронте без перемен . Своеобразным эхом романа стала серия из шести рассказов, которые были опубликованы в 1930–1931 годах в американском журнале Collier's Weekly под общим названием Враг (Der Feind). В русском издании для названия сборника выбрали заголовок другого рассказа — История любви Аннеты .

- [ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК](#)
 - [Враг](#)
 - [Безмолвие вокруг Вердена](#)
 - [Карл Брегер во Флери](#)
 - [Жена Йозефа](#)
 - [История любви Аннеты](#)
 - [Странная судьба Йоганна Бартока](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
-

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ АННЕТЫ

Враг

Когда я спросил своего школьного товарища, лейтенанта Людвига Брайера, какой военный эпизод остался самым живым в его памяти, то ожидал услышать что-нибудь про Верден, про Сомму или про Фландрию; ибо в месяцы самых тяжелых боев он побывал на всех этих трех фронтах. Но вместо этого он рассказал мне следующее:

«Не самое живое, но самое неизгладимое из моих впечатлений началось с того, что нас отвели на отдых в тыл, в маленькую французскую деревушку, далеко от передовой. Мы держали оборону на жутком участке, под необычайно сильным артиллерийским огнем, и нас отвели подальше, чем обычно, потому что мы понесли тяжелые потери и должны были снова собраться с силами.

Была чудесная неделя августа, стояло роскошное, прямо-таки библейское лето, и оно ударяло в голову, как тяжелое золотое вино, как-то попавшееся нам в одном из погребов Шампани. Вовсю заработала вошебойка; некоторым из нас даже досталось чистое белье, другие основательно прокипятители свои рубашки над небольшими кострами; везде царила чистота, колдовскую прелесть которой знает только солдат, покрывшийся коркой грязи, — чистота, приветливая, как субботний вечер в те далекие мирные дни, когда мы еще детьми купались в большой ванне, а мать доставала из шкафа свежее белье, пахнувшее крахмалом, воскресеньем и пряником.

Не совру, если скажу, что ощущение такого, клонящегося к вечеру августовского дня сильно и как-то сладостно пронизало меня всего насквозь. Это ты понимаешь. Будучи солдатом, относишься к природе совсем по-иному, чем большинство людей. Все эти тысячи запретов и принуждений, сковывающих тебя в условиях жесткого, ужасающего бытия на грани смерти, вдруг отпадают; и в минуты и часы передышки простая мысль о самой жизни, о том голом факте, что ты еще есть, что уцелел, вырастает до огромнейшей радости; ты можешь видеть, можешь дышать и свободно двигаться.

Поле, освещенное закатным солнцем, синие тени леса, шелест листвы тополя, бег прозрачного ручья, — до чего же это неописуемо радостно; но глубоко внутри — словно хлыст, словно колючка, засела острая боль: ты знаешь — через несколько часов, через несколько дней все это пройдет и неминуемо должно смениться опаленными пейзажами смерти. И это

чувство, в котором странно сочетались счастье, боль, меланхолия, печаль, томление и безнадежность, было обычным для каждого солдата на отдыхе.

После ужина вместе с несколькими товарищами я вышел из деревни. Шли недолго и почти не разговаривали; впервые после многих недель все мы были вполне довольны и грелись в косых лучах солнца, лупивших нам прямо в глаза. Вскоре мы оказались перед небольшим, мрачного вида зданием какой-то фабрики, стоявшей в середине обширного огражденного участка, вокруг которого расставили часовых. Двор был полон пленных, ожидавших отправки в Германию.

Охрана запросто пропустила нас, и мы осмотрелись. Здесь разместили несколько сотен французов. Они сидели или лежали, курили, разговаривали или клевали носом. И вот именно эта картина открыла мне глаза на многое. До тех пор у меня были лишь неполные, беглые, разрозненные и, в общем, какие-то призрачные представления о людях, удерживающих вражеские окопы. Ну, например, над краем бруствера на мгновение высунется шлем; или чья-то рука что-то швырнет и тут же исчезнет; или в воздухе мелькнет какая-то фигурка в серо-голубой форменной ткани — почти абстрактные вещи, притаившиеся за ружейным огнем, за ручными гранатами и колючей проволокой.

Теперь же я впервые увидел пленных, причем многих, сидящих, лежащих, курящих, — увидел французов без оружия.

И внезапно я испытал что-то вроде шока, хотя, впрочем, тут же внутренне посмеялся над собой. Меня ошеломила простейшая мысль, что они ведь такие же люди, как и мы. Но оставалось фактом — и, видит Бог, очень странным фактом, — что прежде эта мысль мне просто ни разу не приходила в голову. Французы? Да они же враги! Да их же надо убивать, потому что они хотят уничтожить Германию. Но в тот августовский вечер я постиг одну зловещую тайну — тайну магии оружия. Оружие преобразует людей. И все эти безобидные товарищи, эти фабричные рабочие, чернорабочие, деловые люди, старшеклассники, которые так тихо и смиренно сидели вокруг, тотчас же превратились бы во врагов, появись у них вдруг оружие.

Первоначально они не были врагами: стали ими только тогда, когда получили оружие. Вот что заставило меня задуматься, хотя я знал, что моя логика, быть может, и не так уж верна. Но меня неотступно преследовала эта смутная мысль, что вот, мол, именно оружие и навязало нам войну. В мире накопилось столько вооружений, что в конце концов они одержали верх над людьми и превратили их во врагов...

А потом, уже много позже, во Фландрии, я опять наблюдал то же

самое: покуда бушевала битва материалов, люди практически уже ничего не значили. В своей безумной ярости вооружения сами бросались друг на друга. И у человека должно было бы возникнуть ощущение, что если даже вся живая сила, находящаяся между оружием обеих сторон, будет умерщвлена, то все равно оружие станет машинально действовать дальше, вплоть до тотального уничтожения всего мира... Но здесь, на этом фабричном дворе, я видел таких же людей, как мы с тобой. И впервые до меня дошло: да ведь я же воюю с людьми! С людьми, так же как и я, оболваненными громкими словами и оружием, с людьми, у которых есть жены и дети, родители и профессии. И коль скоро такое озарение пришло ко мне через них, то, возможно, очнутя и они и, так же как я, оглянутся вокруг и зададутся вопросом: „Братья, да что же мы делаем?! К чему все это?!“

Через несколько недель мы снова были на фронте, теперь уже на более спокойном участке. Передний край французов проходил довольно близко, но позиции были хорошо укреплены, и, в общем, я сказал бы, ничего особенного тут не происходило. Каждое утро ровно в семь артиллеристы обеих сторон обменивались несколькими приветственными выстрелами; затем, в полдень, снова производился небольшой салют, и уже ближе к вечеру раздавалось последнее взаимное благословение. Мы принимали солнечные ванны перед своими укрытиями и даже отваживались на ночь стаскивать с себя сапоги.

Однажды по ту сторону ничейной полосы над бруствером внезапно поднялся фанерный щит с надписью „Attention!“ [\[1\]](#). Можно себе предстаешь, с каким удивлением мы вытаращились на него. Немного поразмыслив, мы решили, что сейчас начнется какой-то особенный артналет, сверх обычной программы, поэтому все приготовились при первом же посвисте снаряда исчезнуть в укрытиях.

Но все оставалось тихо. Щит скрылся, а через несколько секунд мы увидели выдвинутую вверх лопату с прикрепленной к ней пачкой сигарет. Один из наших товарищей, имевший довольно смутное представление о французском, намалевал гуталином на большом планшете для топографических карт слово „Compris“ [\[2\]](#). Мы выставили планшет на обозрение противника. Тогда на той стороне стали размахивать лопатой с пачкой сигарет вправо и влево. Мы тоже давай размахивать своим планшетом и выставили кусок белого полотна — просто схватили рубашку обер-ефрейтора Бюлера, который как раз держал ее на коленях и давил вшей.

Через некоторое время на той стороне тоже подняли белое полотно да еще и каску в придачу. Тут мы что было сил принялись сигналить рубашкой, и, думаю, все вши высыпались из нее дождем. Наконец там высунулась рука с пакетом, и тогда какой-то француз осторожно протиснулся сквозь колючую проволоку; на руках и коленях он медленно пополз в нашу сторону и при этом время от времени махал носовым платком и возбужденно смеялся. Примерно на середине ничейной полосы он остановился, положил пакет на землю, раз пять или шесть ткнул в него пальцем, опять рассмеялся, кивнул и пополз назад. Все это необычайно разволновало нас. К волнению примешивалось почти мальчишеское чувство совершения чего-то запретного, будто мы устраивали кому-то подвох; а кроме того, просто хотелось поскорее добраться до лакомств или сигарет в пакете, лежавшем на поле перед нами. На нас легонько пахло свободой, независимостью, каким-то духом торжества над всем механизмом смерти. Такое же чувство я испытал, когда стоял среди пленных французов, когда что-то глубоко человеческое победоносно ворвалось в мою душу и разрушило примитивное представление о „враге“, и теперь мне захотелось внести и свою долю в этот триумф.

Второпях мы собрали несколько подарков, в общем, довольно жалких вещичек, ибо у нас было куда меньше чего дарить, чем у товарищей там, за нейтралкой. Затем мы снова посигналили рубашкой и сразу же получили ответ. Я начал медленно высовываться. Голова и плечи оказались снаружи. Это, скажу тебе, была чертовски-неприятная минута: ничем не защищенный, торчишь над бруствером, как мишень.

Потом я пополз прямо вперед, и тогда мои мысли полностью изменились, будто их вдруг переключили на задний ход. Очень странная и захватывающая ситуация: я чувствовал, как во мне, пенясь и переливаясь, нарастает волна небывалой радости; счастливый и смеющийся, я проворно передвигался на четвереньках. И я пережил какое-то чудеснейшее мгновение мира — одиночного, личного мира, мира на всем белом свете, мира только ради меня.

Я положил свой узелок, взял другой и пополз обратно. И вот тут это ощущение мира разом рухнуло. Я понимал, что в мою спину нацелены сотни винтовочных стволов. Меня охватил жуткий страх, и пот ручьями покатился с меня. Но все же я добрался до своих целым и невредимым и, бездыханный, распластался на дне окопа.

На следующий день я уже как бы привык к этому делу; и постепенно мы все упростили, и уже не стали выходить поочередно, а оба одновременно выкарабкивались из наших окопов. Как две спущенные с

поводка собаки, мы ползли навстречу один другому и обменивались подарками.

Когда мы в первый раз посмотрели друг другу в глаза, то лишь растерянно улынулись. Тот товарищ был молодой парень вроде меня, лет двадцати, не больше. По его лицу было видно, как здорово ему нравится эта затея. „Bonjour, camarade“ ^[3], — сказал он; я же совсем обалдел и дважды сказал: „Bonjour, bonjour“, — а затем еще и в третий раз, и кивнул, и поспешно повернул назад. Мы стали встречаться в определенное время и отказались от предварительного обмена сигналами — обе стороны соблюдали условия этого неписаного мирного договора. А через час мы, как и прежде, снова обстреливали друг друга. Однажды тот товарищ нерешительно протянул мне руку, и мы с ним поздоровались. Ну, прямо потеха.

В то время подобные эпизоды случались и на других участках фронта. Об этом проведало верховное командование, и вышел приказ, что, мол, такого рода дела категорически запрещаются, что в отдельных случаях из-за них нарушается обычный режим боевых действий. Но нас это не смущало.

В один прекрасный день на фронт приехал какой-то майор и прочитал нашей роте целый доклад. Ревностный и очень энергичный служака, он заявил, что намерен остаться на передовой до самого вечера. К сожалению, он расположился близко от места нашего выхода и вдобавок потребовал себе винтовку. Это был очень молодой майор, жаждавший подвигов.

Мы не знали, что нам делать. Не было возможности подать какой-нибудь знак товарищам напротив; кроме того, мы опасались расстрела на месте за то, что завели такие делишки с противником. Минутная стрелка моих часов продолжала медленно двигаться по кругу. Ничто не шевелилось, и мы уже было решили, что все обойдется благополучно.

Майор, несомненно, знал про всеобщее братание вдоль линии фронта, но определенных сведений о том, что мы тут делаем, не имел; и ведь надо же, чтобы его занесло именно к нам, да еще с таким заданием. Вот уж не повезло!

Я подумал — а не сказать ли ему: „Через пять минут оттуда кто-нибудь придет. Стрелять в него никак нельзя — он нам доверяет“. Но решиться на такое я не мог, да это ничего бы и не дало. А скажи я ему — он бы уж точно остался ждать, а так все-таки оставался хоть какой-то шанс, что он уйдет. Кроме того, Бюлер шепнул мне, что пробрался к другому брустверу и винтовкой сделал знак „мимо!“ (так в тире сигнализируют о непопадании при стрельбе) и что они якобы ответили ему, то есть, в общем, поняли, что

выходить им нельзя.

К счастью, был пасмурный день, шел небольшой дождь и уже начало темнеть. Прошло более четверти часа после установленного времени встречи. Наше волнение понемногу улеглось, и мы снова задышали свободно. И вдруг мой взгляд застыл; было ощущение, будто язык разбух и словно кляп забил мне рот; я хотел закричать, но не мог; оцепенев от отчаяния, я глядел через ничейную полосу и увидел медленно поднимающуюся руку, за ней показался торс. Бюлер метался вдоль бруствера и в полном исступлении пытался подать предостерегающий знак. Но поздно — майор успел выстрелить. Послышался тонкий вскрик, и тело исчезло. На мгновение воцарилась страшная тишина. Еще секунда-другая, и мы услышали многоголосый рев. Начался ожесточенный огонь на поражение. „Стрелять! Они атакуют!“ — заорал майор.

Тогда и мы открыли огонь. Как сумасшедшие, мы заряжали и стреляли, лишь бы поскорее осталась позади эта ужасающая минута. Весь фронт ожил, заработала артиллерия, и так продолжалось всю ночь. К утру мы насчитали двенадцать убитых, в их числе были майор и Бюлер.

Боевые действия, как и положено, возобновились; прекратилась передача сигарет в обе стороны; число потерь росло с каждым часом... С тех пор мне пришлось многое пережить. Много людей погибло на моих глазах; я сам поубивал не одного и не двух; я стал черствым, бесчувственным. Прошли годы. Но за все это долгое время я — как только мог — старался не вспоминать этот тонкий вскрик под дождем».

Безмолвие вокруг Вердена

Никто не может сказать, когда это начинается, но гладкие, мягко округленные линии на горизонте внезапно изменяются: красный и коричневый цвета, сверкающие, раскаленные краски лесной листвы неожиданно принимают какой-то своеобразный оттенок, поля тускнеют и увядают, отливают охрой, пейзаж делается непривычным, притихшим, блеклым, и не знаешь, чем это объяснить.

Это те же горные цепи, те же леса, те же поля и луга, что и прежде; вот оно — белое шоссе, протянувшееся в бесконечную даль, и золотой свет поздней осени все еще льется на землю, как золотистое вино, — и все-таки что-то невидимое и неслышное пришло издалека; огромное, торжественное и мощное, оно вдруг здесь, рядом, и затеняет собою все.

Это не темные и тонкие кресты, то и дело возникающие на обочине дороги. Покосившиеся и очень усталые, они торчат из травы, просквоженные бесконечными ветрами, изнуренные проплывающими над ними дождевыми облаками, — кресты 1870 года. Стройные молоденькие деревца, еще тогда посаженные между ними, давным-давно стали большими деревьями с могучими ветвями, полными птичьего щебета. Эти старые окопы больше не пугают и едва ли еще напоминают о смерти — они слились с этим парковым пейзажем, живописным и радующим глаз. Хорошая земля, добрый край...

Дело не в характере этой прекрасной, этой ужасной местности, которая всегда была полем сражения и где война столетиями складывала свои отходы, словно различные напластования в скалистой породе — пласт над пластом, война над войной. Даже еще и сегодня все это отчетливо различимо — от битв близ Марс-ла-Тур до массовых захоронений под Дуомоном [\[4\]](#).

Дело и не в таинственном двойственном облике этой местности, где плавные синеватые очертания на горизонте не просто горы и лесные уголья, а замаскированные форты; где округлые вершины перед ними не просто цепи холмов, а сильно укрепленные высоты; где идиллические долины заодно и окопы для пехоты (недаром их называют «долинами смерти»), и места сосредоточения войск, и стратегические плацдармы; где небольшие холмики — бетонированные огневые позиции, или пулеметные гнезда, или вырытые в склонах склады боеприпасов. Ибо все здесь превращено в стратегию. В стратегию и могилы.

Дело в безмолвии. В ужасающем безмолвии вокруг Вердена. Безмолвие, равного которому нет нигде в мире, ибо до сих пор во всех сражениях в конечном итоге природа одерживала верх; из уничтожения вновь возникала жизнь, вновь воздвигались города, вновь разрастались леса, и после немногих месяцев вновь колыхалась молодая пшеница. Но в этой последней, самой страшной из всех войн впервые победило уничтожение. Здесь стояли деревни, которые так и не были восстановлены, деревни, где не осталось камня на камне. Почва под ними еще настолько полна смертельной угрозой, живой взрывной силой, снарядами, минами и ядовитыми газами, что каждый удар мотыгой, каждая выемка грунта лопатой таят в себе опасность. Здесь росли деревья, которые перестали давать новые побеги, потому что не только их кроны и стволы, но и самые глубокие корни были изрублены, искромсаны, измельчены в щепки. Были здесь поля, которые уже никогда не вспашет плуг, потому что они засеяны сталью, сталью и еще раз сталью.

Правда, в воронках от снарядов — а ими здесь почти сплошь продырявлена земля — пробились растрепанные, жухлые сорняки, а по их краям цветут красные маки и ромашки, иногда из замусоренной почвы робко и неуверенно вылезает неказистый кустик. Но вся эта скудная растительность только усиливает гнетущее ощущение безмолвия и безутешности. И кажется, будто в конвейере событий жизни образовалась дыра и время остановилось; будто само Время, несущее в себе не только прошлое, но и будущее, из сострадания заглушило здесь свой мотор. Нигде в мире нет такой местности; даже пустыня и та более живая — ее безмолвие органично.

Нигде в мире нет такого безмолвия, ибо оно — оглушительный, окаменевший крик. И нет в нем кладбищенского покоя; ибо из огромного числа закончившихся здесь усталых, обессиленных жизней лишь немногие были истинно Молодыми и вдохновенными; именно тут внезапно разбилась, расщепилась на атомы великая сила сотен тысяч, которая светилась в их глазах, позволяла им дышать и видеть, пригибаться и сражаться; именно тут, в судорогах напряженнейшей самозащиты, жизнь была вожделенной, ее словно бы ласкали, в нее верили более страстно и дико, более пламенно и одержимо, чем когда-либо прежде; и на эту отчаянную, предельно собранную волю, на этот клокочущий водоворот деятельности, муки, надежды, страха, жажды жизни обрушивался град осколков и пуль. И тогда самое выносливое и хрупкое из всего, что есть, — а именно жизнь — истекало кровью, и великая тьма простерлась над восемью сотнями тысяч мужчин.

И над этими полями словно бы продолжаются потерянные годы. Годы, которых не было и которые никак не найдут себе успокоения, — слишком рано был задушен зов молодости, слишком рано он оборвался.

С высот дует серый, свинцовый ветер, он сливается с жаром осени, ее ярким огнем и золотым светом. С высот опускается безмолвие, приветливые дни становятся вялыми и безжизненными, словно солнце затмилось, как в тот предвечерний час на Голгофе. С высот спускаются воспоминания, в памяти всплывают названия здешних мест: Во, Тисмон, Бельвиль, Холодная Земля, Ущелье Смерти, Высотка 304, Мертвец... Какие названия! Четыре долгих года они просуществовали под пронзительное, гигантское завывание смерти. Сегодня они поражают своим бесконечным безмолвием, и этого не могут изменить ни туристические группы бюро путешествий Кука, ни приятные экскурсии по удешевленному тарифу, с посещением глубоких блиндажей, романтически освещенных карбидными лампами. Эта земля принадлежит мертвым.

Но в этой земле, снова и снова взрываемой снарядами любого калибра, в этой земле застывшего ужаса, среди этого кратерного пейзажа живут люди. Их почти не видно — так хорошо они с течением времени адаптировались к окружению, так мало выделяются на его фоне. Одеты они в желтое, серое, грязное. Иногда их тут сотни, иногда, пожалуй, даже тысячи, но работают они в одиночку и так разбросаны по всей округе, что кажется, будто их совсем немного, этих трудолюбивых маленьких муравьев в пустых воронках. Живут они своей обособленной жизнью, зачастую месяцами остаются в своих барачных лагерях и лишь изредка появляются в деревнях. Эти люди — «искатели».

Поля сражений превратились в объекты спекуляции. Какой-нибудь предприниматель получает от правительства разрешение собирать здесь все нужные металлы. Для этого он и нанимает искателей. Они охотятся за всем, что имеет ценность металла: старые винтовки, неразорвавшиеся снаряды, бомбы, железнодорожные рельсы, катушки проволоки, лопаты. Для них эти поля горестных воспоминаний и траура стали своего рода рудниками по добыче железа, стали и меди. Больше всего их привлекает медь. За нее самая высокая цена.

Большинство искателей — русские. Среди этого безмолвия они и сами стали безмолвны. Они почти всегда в своем кругу. Никто не ищет их общества; и хотя правительство выдало тысячи подобных разрешений, все же чувствуешь, что они делают нехорошее дело. Да, в этой земле действительно есть металл стоимостью в миллионы франков, но в ней же и слезы, и кровь, и страх миллионов.

Занятие это доходное, и многие из искателей уже довольно скоро могут приобрести автомобиль. Годами артиллерия заботилась об их нынешних прибылях. Первоначальный поспешный и поверхностный сбор металла давно прошел, и теперь приходится копать глубже, чтобы добраться до следующего слоя зарытых сокровищ. Грунт твердый, и порой яму площадью в несколько квадратных метров надо выкапывать целую неделю. Поэтому очень важно уметь находить подходящие места. Для этого требуется опыт.

Обычно почву сначала прощупывают на металл длинными железными стержнями. Тут можно наткнуться и на сапог. Он хоть и не металлический, но с ходу его не проткнешь: как правило, сапоги на мертвецах, лежащих там, внизу, хорошо сохраняются. Но искатель сразу определяет это, у него навык. Он прямо с поверхности может решить, стоит ли вообще делать раскоп. Если он уткнулся в каску, значит, все хорошо и прекрасно. Такой подробностью пренебрегать нельзя — она указывает на возможную добычу. Есть несколько старых, опытных искателей, которые копают только в тех местах, где из-под земли пробился и взошел куст. Они вычисляют, что в этих местах находятся засыпанные укрытия с трупами — иначе куст не вырос бы так хорошо. А в укрытиях обычно есть металлы всех видов.

Если повезет, можно наткнуться на пулемет, а то и на небольшой склад боеприпасов. Тогда, конечно, и заработок солидный — сразу несколько тысяч франков. Находкой, о которой говорят по сей день, был германский аэроплан. На сиденье пилота все еще торчал скелет, а между голеньями стоял ящик с 15 000 марок золотом.

Везде одна и та же картина. Грунт сперва разрыхляют и вскапывают, затем ворошат руками. Вытаскивают на свет божий ручные гранаты, немецкие, с длинными рукоятками, и, скажем, походный котелок. Это малоинтересно. А вот погнутый, разъеденный коррозией ствол винтовки бросают в кучу уже собранного ржавого металла. Или шлем — а за ним выцветшая и изодранная влажная серо-зеленая тряпка, а под ней череп, еще с волосами, белокурыми волосами, череп с раздробленной по краям дыркой — пуля врезалась прямо в лоб. Искатель кладет его в небольшой ящик позади себя. Он вытряхивает пятнистые коричневые кости из жалкого, грязно-зеленого тряпья — остатков мундира. Последние кости выдергиваются из носков сапог. Все это складывается в ящик и вечером сдается на головной склад для идентификации. Вконец истертый кошелек с несколькими уже слегка почерневшими монетками остается на месте. Также и остатки полусгнившего бумажника. Но вот лопата опять со звоном задевает металл, на поверхность извлекаются железные столбики и

катушки с проволокой. Хорошая находка.

Всегда одна и та же картина, она повторяется стократно, тысячекратно: под лучами осеннего солнца лежит солдат, точнее, несколько кусков ветоши, несколько костей, череп, что-то из снаряжения с ржавой пряжкой поясного ремня, подсумок для патронов. И этот солдат был бы очень счастлив все еще жить.

Некоторые искатели говорят, что по форме нижней челюсти они могут определить, какой перед ними череп — германский или французский. Вечером кости обязательно нужно отнести на головной склад, это очень важно, иначе к утру их сожрут лисицы. Довольно странно — лисицы пожирают кости. Видимо, им больше нечем кормиться. Так или иначе, но здесь живет множество лисиц.

Искатели примостились на корточках в своих бесчисленных маленьких ямах и роют, как кроты. И это правда, что кости, которые они находят, идентифицируются. Их хоронят на кладбищах, помещают в мавзолеи, складывают в огромные каменные гробы. И все-таки было бы, пожалуй, лучше оставить этих солдат в покое там, где они отдыхают уже десять или двенадцать лет. Ведь все они — товарищи.

Кажется, они и сами бы не захотели другого. Кажется, сама земля, что над ними, охраняет их, защищает от загребущих рук, ищущих металл и деньги. Ибо между спящими солдатами спит и их оружие. И часто это оружие еще не утратило свою ударную силу.

Достаточно одного удара киркой. Достаточно один раз воткнуть лопату в землю, и все с глухим грохотом взлетает на воздух, свистят осколки, и смерть быстрой рукой хватается искателей. Уже многих разнесло в клочья, многие искалечены, и каждую неделю к ним прибавляются все новые и новые. Смерть, когда-то скосившая солдат, теперь сторожит могилы ею же убитых, а земля хранит их, словно не желая, чтобы они покоились в роскошных мавзолеях, а остались лежать там, где пали в бою.

И над этим земляным саваном время остановилось. Оно остановилось перед неизбывной болью, застывшей между горизонтами, над этим саваном нависли безмолвие, и скорбь, и память.

Карл Брегер во Флери

Машина несется на полном газу вдоль шоссе, шины поют, шоссе прямое, тихо позвякивают стекла, а Страсбург и Мец уже далеко позади. Рядом со мной сидит Карл Брегер и жует хлеб с маслом. Но он явно не собран. В мыслях он где-то в другом месте.

Два часа назад мы пообедали. Такие обеды запоминаются: на закуску нам подали половину омара под майонезом, и всего за двадцать пять франков, а после десерта принесли большую тарелку с различными сырами. Не стану говорить о других аппетитных кушаньях. И когда мы понемногу пришли в себя от этих гастрономических переживаний, Карл начинает подробно излагать свои планы и виды на будущее.

Я мало что смыслю в таких делах — с ними связано множество разных «но» и «если» и всяких расчетов и людей. То ли вследствие удовольствия от омара и выпитого вина, или, возможно, даже оттого, что и омар, и вино достались нам поразительно дешево, но мой друг громоздит одну мечту на другую, и они вырастают штабелем, который теряется где-то высоко-высоко, аж в облаках вокруг Монт Эвереста. Послушать Карла — так он через десять лет станет руководителем фирмы, через двадцать — ее директором, потом генеральным директором, президентом и так далее. А пока что Карл стоит на такой низкой ступеньке этой лестницы, что даже если свалится с нее, то наверняка серьезных травм не получит. Он — банковский служащий и отличается отменным здоровьем. Поэтому уже через два часа после омара он в состоянии съесть добрый ломоть хлеба с маслом. Не буду предвосхищать осуществление его заветных дум, но пока что его одолевают грезы о будущей деятельности в роли руководителя фирмы. Уж таков Карл.

Машина мчится дальше. Деревня за деревней. Островерхие двухскатные крыши, коровы, пестрые женские платья. Осенний ветер и кучи навоза проносятся мимо, поворот за поворотом, спуски, подъемы, и вот уже нет ни аллей, ни деревьев, дороги разветвляются, сужаются, мы обгоняем неуклюжие и громохливые автобусы с броско наклеенными буквами, с какими-то призывами, а на дорожных указателях появляются названия, перед которыми все должны остановиться.

Карл перебирает содержимое своего бумажника. Между банкнотами запиханы вырезки из спортивных газет с описаниями славного футбольного матча — «Райнэ» против «Мюнстера» (команда Карла

победила с разгромным счетом 6:0, и Карл удостоился похвалы); но гораздо более существенны фотографии очаровательных дам, которые он разглядывал еще за десертом.

Конец дороги — впереди тупик. Взвизгнули тормоза, и машина встала. Мы выходим на площадь — что-то вроде городского рынка. Здесь стоянка автомобилей; около них слоняются озабоченные, деловитые водители в характерных шоферских фуражках с восьмиугольным донышком, толпятся группы посетителей, суетятся гиды; они собирают своих баранов и уводят их. Вокруг нас тоже мельтешат экскурсоводы. Они разговаривают сдавленным, быстрым шепотом и старательно делают свое дело; вчерашние дороги смерти превратились в какие-то бульвары, по которым движутся добропорядочные послевоенные визитеры, и там, где некогда каждый шаг означал кровь и дикий страх сжимал горло, сегодня протянулись дощатые настилы, чтобы обувь туристов оставалась чистой, и хорошо подготовленные переводчики шагают впереди, так что каждому слышно и видно все — гарантировано все!.. Дуомон...

Подошел кто-то и к нам. Возбужденный, усердный, юркий — хочет объяснить нам, какая здесь применялась стратегия, так сказать, ввести нас в курс дела. Карл, подкрепленный омаром и бутербродом, приветливо улыбается, очень внимательно слушает, и мы даже позволяем гиду провести нас при карбидном освещении по форту; мы также выслушиваем, насколько практичными были немцы: едва захватив форт, они сразу же установили под землей различные механизмы, подвели сюда электричество и установили краны для подъема снарядов. Прежде такого не бывало.

Карл утвердительно кивает: да, именно так и обстояли дела. И мы стоим перед заржавленными стальными касками, скрученными пулеметными стволами и неразорвавшимися снарядами, а наш гид продолжает трепаться, а рядом другой начинает излагать то же самое по-английски. Карл делает мне знак, с него хватит; мы протискиваемся наружу. Насмотревшись шлемов, бронежилетов и осколков, мой друг совсем притих.

А наверху после удушливого воздуха подземелья нас овеивает ветер, такой мягкий и нежный, что хочется опереться о него. Еще довольно светло, но уже настал тот таинственный час, когда день и ночь уравнились, и чаши весов, словно прервав свои вечные колебания, на мгновение остановились, замерли, еще один удар сердца — и волшебство прошло; и вдруг перед глазами слабое мерцание вечера, корова мычит на лугу, и на землю опускается ночь.

Перед нами в фиолетовой тени волнистая гряда высоток. Гид,

увязавшийся вслед, снова бубнит за спиной: «Вот эта башня — ее называли „перечницей“ — была в высшей степени интересной стратегической точкой...»

Сказать еще что-то ему не удастся: Карл нехотя оборачивается к нему и очень определенно говорит:

— Да заткнитесь же вы наконец!..

Произносит он это беззлобно, скорее спокойно и тем самым окончательно.

Потом уходит вперед, прочь от стратегических боевых порядков и кудачтающих групп туристов, прочь от омаров, бутербродов, фотографий красоток и банковских дел, прочь от десяти лет мирной жизни.

Он идет, и лицо его делается все более серьезным; глаза сощуриваются, напряженно вглядываются в землю; шуршит трава, похрустывают камушки, какой-то указатель предупреждает о близкой опасности, но на все это Карл уже не обращает внимания. Он в поиске.

Тропа ведет через поле, изрытое снарядами, сквозь остатки проволочных заграждений. Переводчик натужно орет, предостерегает нас. Теперь он далеко. Мы видим укрытия, которые когда-то засыпало землей, а потом их снова откопали; валяются гранаты на длинных рукоятках и изрешеченные пулями котелки, из желтой глины торчит ржавая солдатская вилка, на ее черенке повисла половина ложки.

Недолго мы продолжаем идти. Карл часто задерживается, внимательно все осматривает, проверяет, что и как. Потом кивает головой и шагает дальше, его неодолимо тянет вперед. Хочет проследить направление какой-то траншеи. Между воронками змеятся чьи-то следы и вдруг резко сворачивают в сторону. Еще несколько шагов. Еще один ищущий взгляд. И вот Карл нашел то, что искал.

С минуту он молчит и наконец говорит: «Здесь...» — и останавливается; затем идет чуть дальше.

— Примерно здесь это и было. Все кругом гремело, и команда «В атаку!» — Он повторяет: — И команда «В атаку!»

И тут он отходит от траншеи, приседает, вскакивает и идет в атаку. Но теперь это уже не Карл Брегер, человек, озабоченный банковскими делами и футбольными новостями; теперь он совсем другой, помолодевший на десять лет унтер-офицер Брегер; он снова во власти этой земли, он почуял дикий запах пепла полей сражения и бессилен перед воспоминанием, вихрем нахлынувшим на него.

Его движения уже не те, как только что: нет больше неуверенности поиска, и походка не та, к которой я привык; бессознательно, невольно

возникло самоощущение осторожно крадущегося зверя, настороженного и готового к прыжку, инстинктивно оберегающего свою безопасность; Карл сам не замечает, как втянул голову в плечи, как свободно висят его руки, на которые можно пружинисто упасть; не сознает он и того, что избегает обнаружить себя, словно хочет стать невидимкой; он укрыт...

Так мы движемся вперед. Несколькими часами раньше он едва ли смог бы сориентироваться на местности; теперь он видит каждое углубление в почве; прошлое снова овладело им. Так мы и идем по следу — двое мужчин в костюмах, сшитых по мерке, в шляпах и с тросточками, — мы идем по следу там, где он вместе со своим взводом полз по-пластунски в ту страшную ночь, когда осветительные ракеты, точно огромные дуговые лампы, висели над всеобщим уничтожением, и вся земля вокруг Тиомона и Флери, словно море, вздымалась и опускалась под фонтанами взрывов, — мы снова идем по этому пути, и вокруг нас безграничный вечерний покой; но в ушах унтер-офицера Брегера бушует битва, он держит свою трость, как ручную гранату, он снова ведет свой взвод через воронки, на штурм города...

А города-то и нет. Он исчез, сровнен с землей; не восстановлен, ибо земля все еще заминирована, забита до отказа взрывчатым материалом, слишком опасно застраивать ее заново.

Карл прислонился к памятнику, обозначающему место, где некогда было Флери — деревня ужаса, развалины которой за одну ночь пришлось шесть раз брать штурмом и опять сдавать врагу.

— Был тут со мной один молодой новобранец, — говорит он. — Все время был вплотную около меня. Когда надо было отступить, он куда-то пропал. А потом...

Потом, когда они снова захватили эту позицию, то нашли только кусок трупа, но не могли определить, он ли это. Включили его в список «пропавших без вести», а его мать до сих пор надеется, что все-таки настанет такое утро, когда он войдет в жилую комнату с красной плюшевой мебелью, войдет возмужавший, сильный и широкоплечий и усядется с ней на диван.

— Нет причин считать, что он погиб, — вслух размышляет Карл и мрачно смотрит на меня. — Как ты думаешь, вышел из него музыкант или нет? Тогда ему очень хотелось стать музыкантом.

Я этого не знаю, и мы уходим. Сумерки вытеснила темная синева. Карл еще раз останавливается и, сделав неопределенный жест рукой, говорит:

— Ничего не понимаю; тогда тут творилось такое, что даже нельзя

было думать о чем-либо, все мысли поотшибало; это был ад, чистейший ад, самое последнее, конец всему, какой-то чертов котел, полная безнадежность, и в этом котле торчал человек, который уже вовсе и не был человеком, — а теперь мы с тобой как ни в чем не бывало, запросто шляемся тут, и вон там, в темноте, просто безобидный холмик.

В темноте высится белый мавзолей. Автобусы готовы к отправке. Гудя, они отъезжают со своими рядами мягких сидений...

И снова темный пейзаж плывет мимо автомобиля. Обелиски, много обелисков. Они скользят сквозь свет фар. На большинстве из них речь идет о Gloire ^[5] и Wictoire ^[6]. Карл качает головой.

— Это еще ни о чем не говорит, — замечает он. — Нет, совсем ни о чем. Но вообще-то они правы, что ставят такие памятники, потому что нигде не было больше страданий, чем во всех этих местах. Только про одно забыли: чтобы больше никогда. Вот этого не хватает. Ты понимаешь?

Белое шоссе стелется перед нами и медленно поднимается. Из-за облаков показалась луна, красная и грустная. Постепенно она уменьшается и делается ярче, а когда мы подъезжаем к американскому кладбищу, что перед въездом в Романь, она уже отливает серебром. В ее бледном свете мерцают четырнадцать тысяч крестов, ряд за рядом, и в глазах начинается жжение от этой потрясающей прямизны, вертикальности, диагональности. Под каждым крестом могила. На каждом надпись: Герберт К. Уильяме, лейтенант, Коннектикут, 13 сент. 1918... Альберт Петерсон, 137-й пех. полк, 35-й дивизии, Северная Дакота, 28 сент. 1918... Четырнадцать тысяч... А всего их было двадцать пять тысяч... Убиты при штурме Монфокона, убиты за несколько недель до заключения мира. Только одно кладбище для такого множества людей. Остальные лежат в сотнях других мест, повсюду. Белые кресты над французами, черные над немцами.

Посреди четырнадцати тысяч крестов, по широкой главной дороге, удаленный и маленький, один-единственный мужчина шагает вперед и назад, вперед и назад, и это удручает больше, чем если бы там не было никого. Карл торопит меня.

Где-то в городах на площадях играют дети. Вокруг них магазины, дома, кладбища, газеты, шум, крики, улицы, целый мир; дети продолжают играть, увлеченные своими незатейливыми играми. Так уж повелось во всем мире.

— Дети, — говорит Карл, и в темноте не видно, что с ним. — Они везде одинаковы, разве нет?... Дети еще ни о чем не знают...

И пока я обдумываю его слова и пытаюсь его разглядеть, он поворачивается ко мне.

— Ну, все! — говорит он. — Едем дальше, нечего здесь торчать!
Весь остаток пути он напряженно смотрит в боковое стекло.

Жена Йозефа

Это было в 1919 году, и олеандр уже расцвел, когда Йозеф Тидеман вернулся домой. Его встретила только жена. Сама отправилась за ним на станцию, даже кучера с собой не взяла.

Весь день оба молча просидели рядом. Перед ними легонько покачивались блестящие от пота спины пары гнедых. Они въехали на главную деревенскую улицу и медленно покатали по ней. Люди стояли перед своими домами в лучах вечернего солнца, и то одна, то другая жена, удивленно глядя на бричку с ее седоками, незаметно дотрагивалась до руки мужа. Но Тидеман не узнавал никого — ни даже собственную жену или своих лошадей. В июле 1918 года от разрыва мины его вместе с несколькими товарищами, находившимися с ним в блиндаже, завалило землей. Он спасся благодаря чистой случайности: одна из балок разлетевшегося наката блиндажа сдвинулась поперек над ним, и поэтому он не был раздавлен. Около двух часов его откапывали, и все думали, что он уже задохнулся; но две расколовшиеся балки заклинило так, что между ними образовался узкий просвет, через который струилось немного воздуха. Это спасло ему жизнь.

Когда Тидемана вытащили, он еще был в сознании и с виду практически цел и невредим. Некоторое время, в состоянии полной апатии, он сидел на краю окопа и с отсутствующим видом глазел на трупы своих товарищей. Санитар-носильщик потормошил его за плечо и кое-как влил ему в рот сквозь сжатые зубы чашку кофе с водкой. После этого Тидеман глубоко вздохнул и лишился чувств.

Он, несомненно, перенес тяжелый шок и почти год кочевал из одной неврологической клиники в другую. И наконец жене удалось добиться разрешения забрать его домой.

Когда бричка свернула на ухабистую боковую улицу, которая вела к их двору, и тряско подъехала к сараю, Тидеман выпрямился. Его жена побледнела и затаила дыхание. В закуте хрюкал и свиньи, и слабый ветерок доносил аромат лип. Тидеман повернул голову в сторону, затем в другую, словно что-то искал. Но тут же снова поник, безучастный ко всему, даже к родной матери, вошедшей в комнату, когда он сидел за столом. Он съел все, что ему подали, потом прошелся по дому и по двору. Везде он хорошо ориентировался, знал, где содержится скотина и где спальня. Но он ничего не узнавал. Собака, которая принялась было возбужденно обнюхивать его,

вскоре снова улеглась у печки и заскулила. Она не стала лизать ему руки, не подпрыгивала около него.

В течение первых недель Тидеман подолгу сидел в одиночестве перед сараем и грелся на солнце. Он ни на кого не обращал внимания, и все оставили его в покое, пусть, мол, делает, что хочет. По ночам с ним часто случались приступы удушья. Тогда он вскакивал с постели, беспорядочно бил кулаками в пустоту и кричал. Однажды он чуть не истек кровью, разбив стекло и повредив себе при этом руку. Поэтому его жена распорядилась вставить в окна спальни проволочную сетку.

Позже Тидеман пережил немало счастливых минут, играя с детьми. Он мастерил для них маленькие бумажные кораблики и вырезал им дудки из ивовых веток. Дети полюбили его и, когда поспела голубика, взяли его с собой в лес собирать ягоду. Возвращаясь домой, они решили сократить путь и пройти по открытому участку. Но едва они вышли из-под сени последних деревьев, как он забеспокоился. Испуганный и взволнованный, он что-то крикнул детям и повалился на землю. Он притянул одного из малышей, уложил его рядом с собой и ни за что не давал уговорить себя встать в рост и пойти по открытому полю. Ему хотелось ползти, и он то и дело пригибался. Дети не знали, как быть, и отправились за его женой. Когда они пошли по полю, Тидеман в крайнем возбуждении закричал им что-то вслед и закрыл глаза, как будто вот-вот должно случиться нечто ужасное.

Со временем он располнел и обрюзг — он ничего не делал, бездумно и слишком много ел. Понемногу он знакомился с людьми в своем доме, но не знал, что принадлежит к ним. Их внешний вид казался ему чуждым. Но почти всегда он был приветлив и доволен. Лишь время от времени, когда замечал свежерасколотое светлое полено, то начинал плакать, и утешить его было не так-то легко.

Его жена управлялась со всем хозяйством одна. Она уволила помогавшего ей работника, потому что однажды за столом он вздумал потешаться над каким-то беспомощным жестом Тидемана. Через несколько дней парень вернулся, чтобы объяснить, что ничего плохого он не имел в виду, но она не стала его слушать, вручила ему жалованье и вышла из комнаты. Как-то вечером сын местного мельника решил приударить за ней и запер за собой дверь. Тогда она схватила спортивную винтовку, висевшую на стене, навела на него и так и стояла, пока он не удалился с глуповатой ухмылкой на лице. Пытались ухаживать за ней и другие, но все безуспешно. В свои тридцать пять лет она выделялась какой-то сумрачной, исполненной достоинства красотой. Она тяжело трудилась, но оставалась

одна.

В первые месяцы часто приезжали врачи. Тидеман прятался от них, и всякий раз его приходилось разыскивать. Только если его звала жена, он соглашался прийти. Один врач поселился у них почти на целый год, чтобы лечить его. Когда он уехал, хозяйке пришлось продать несколько голов скота. В том году летние ливневые дожди повредили урожай зерновых, пострадал и картофель. Это был трудный год.

Но состояние Тидемана не изменялось. Жена невозмутимо выслушивала мнение докторов, словно оно было ей совершенно безразлично. Но ночью, когда Тидеман плел во сне какую-то невнятицу и метался в постели, она прижималась к нему, словно тепло ее тела могло ему помочь, — и она прислушивалась к нему, и задавала вопросы, и пробовала завязать с ним разговор. Он не отвечал ей, но успокаивался и вскоре засыпал. Так шли годы.

Как-то к Тидеману приехал в гости его фронтовой товарищ. У него сохранилось несколько фотографий той поры, и в последний вечер он показал их жене. Среди них был групповой снимок взвода Тидемана. На снимке были изображены обнаженные по пояс солдаты, Они сидели на корточках перед блиндажом и, ухмыляясь, искали в своих рубашках вшей. Тидеман сидел вторым справа, он поднял руку с крепко сжатыми указательным и большим пальцами и улыбался.

Жена внимательно просматривала фотографии, одну за другой, и тут появился Тидеман. Тяжелым шагом он прошел к печке и уселся на стул. Жена взяла групповой снимок и довольно долго держала его в руке. Блуждающим взглядом она смотрела то на выцветшее моментальное фото, то на апатичную фигуру мужа у печки.

— Так, значит, это было здесь? — спросила она.

Друг кивнул.

Женщина с минуту молчала. В тишине слышалось только тяжелое дыхание Тидемана. В окно влетела моль и стала порхать вокруг лампы. Дрожащая тень ее крылышек затрепетала на столе, на фотографиях, оживляя их иллюзией движения и жизни.

— Все это осталось в таком же виде? — спросила она, показывая на снимки окопов и разрушенных деревень.

— Да, наверняка, — сказал товарищ Тидемана.

Быстрым движением она протянула ему карандаш и ладонью разгладила кулек из-под сахара, лежавший рядом на подоконнике.

— Напишите название этого места. И как до него добраться.

Друг удивленно посмотрел на нее.

— Хотите поехать туда?

— Да, — ответила она.

Жена Тидемана разглядывала фотографию, на которой он, еще здоровый и улыбающийся, сидел перед укрытием. Потом спокойно подняла глаза.

— Мы все охотно съездили бы туда, — раздумчиво сказал друг, медленно выводя буквы. — Вам придется ехать через Мец.

Подготовка к отъезду заняла немало времени. Люди не понимали, почему это ей вдруг захотелось ехать, пытались отговорить ее. Но она не слушала их доводы. Полная решимости, не суетясь, собрала и уложила все необходимое для поездки. На все расспросы отвечала односложно: «Так надо».

Путешествие оказалось трудным. От езды у Тидемана разболелась голова, а жене не к кому было обратиться за помощью. Вдобавок она не понимала языка. Она просто стояла и смотрела людям в глаза, и в конце концов они догадывались, что ей нужно.

К концу третьего дня они прибыли туда, где когда-то располагалась рота Тидемана, в неприметную, унылую деревню с длинными рядами серых домов. Здесь не было развалин, которые она видела на фотографиях. Всю деревню отстроили заново.

К Сельской гостинице подъехало несколько карет с туристами. Переводчик подошел к жене Тидемана и заговорил с нею. Она спросила, знает ли он что-либо об отрезке фронта, где засыпало Тидемана. Он пожал плечами — теперь везде поля, с некоторых пор их стали снова возделывать.

— Везде? — переспросила женщина.

— О нет, не везде!

Переводчик начал что-то понимать и пояснил, что недалеко, примерно на расстоянии одного километра, есть участок с окопами и воронками от снарядов. Там все почти в точности сохранилось в прежнем виде. Не проводить ли ему ее туда? Она кивнула, быстро отнесла свои вещи в гостиницу, и они двинулись в путь.

Стоял великолепный ясный день, и крохотные синие бабочки летали во все стороны между могилами и проволочными заграждениями. Края воронок окаймляли маки и ромашки. Луга, там и сям все еще вдававшиеся в этот пейзаж, скоро остались позади, деревня исчезла, и, когда они перевалили через гребень холма, вокруг них вдруг сразу воцарилось мертвенное безмолвие полей сражений, нарушаемое лишь несколькими группами мужчин, возившихся между могилами. Это сборщики металла, пояснил гид, ищут железо, медь и сталь.

— Здесь ищут? — спросила женщина.

Гид кивнул.

— Почва полна боеприпасов, — сказал он. — Поэтому вся территория сдана в аренду фирме, использующей эти металлы в промышленности. Трупы, обнаруживаемые попутно, тоже собирают и хоронят на различных кладбищах поблизости.

Он указал рукой направо, где стояли блестящие на солнце длинные ряды белых крестов.

Жена Тидемана пробыла с ним здесь до вечера. Они прошли вдвоем через множество окопов и кратеров, подолгу стояли перед многими обвалившимися укрытиями. Она часто поглядывала на него и шла все дальше. Он же шел рядом, совсем безучастный, и не было никаких признаков жизни на его погаснувшем лице. На другое утро она опять пошла туда. Теперь она уже знала дорогу, и день за днем можно было видеть, как они медленно бредут по глинистым полям, усеянным кратерами, — усталый, сгорбленный мужчина и его статная, молчаливая жена. Вечером они возвращались в гостиницу и шли к себе в комнату. Иногда переводчик сопровождал супругов на поле боя. Однажды он привел их на участок, куда редко попадали туристы. Тут не было ни души, если не считать сборщиков металла.

В одном месте лабиринт ходов сообщения остался практически нетронутым. Тидеман остановился перед каким-то укрытием и нагнулся. Он это часто делал и раньше, но на сей раз его жена замерла и схватила переводчика за руку. Несколько сгнивших досок облицовки блиндажа торчали из входа наружу. Тидеман осторожно, на ощупь обследовал их руками.

В этот момент вдруг раздались гулкие удары кувалд сборщиков металла, приступивших к очередному раскопу, где-то в двух- или трехстах метрах от них. Жене Тидемана эти звуки показались невыносимо громкими, и у нее невольно дернулась рука, будто этим жестом она могла восстановить тишину. Но уже в следующее мгновение почва содрогнулась от мощного грохота, за которым последовали свист, вой, шипение, потом отчаянный, пронзительный вопль кого-то из группы сборщиков.

— Взрыв! Начали рыть и напоролись на снаряд! — закричал переводчик и побежал к месту происшествия.

Жена Тидемана, не сознавая, что делает, через минуту стояла на коленях около мужчины с раздробленной ногой. Она оторвала рукав от чьей-то рабочей куртки и перевязала раненому бедро; она подняла с земли железный прут, протиснула его сквозь узел и потуже затянула

импровизированный жгут; мужчина попытался приподняться на локтях, чтобы увидеть рану, но потерял сознание. Товарищи подняли его и понесли в сторону барачных, где они жили. Жена Тидемана встала на ноги, а переводчик тараторил без умолку — это, мол, уже седьмой взрыв за последние две недели!.. Она поискала взглядом пучок травы, чтобы стереть кровь со своих рук. Затем как-то сразу пришла в себя, сосредоточилась и напрягла слух. Раненый мужчина находился уже за пределами слышимости, но до нее все-таки доносился глухой, придушенный крик. Она побежала назад.

Крик исходил от Тидемана. Он лежал ничком. Видимо, обезумев, захотел каким-то образом стать незаметным. Его плечи ходили ходуном, и он орал прямо в землю. Изумленный переводчик уже было взялся поднять его. Но жена отстранила переводчика.

Подбежали несколько рабочих, они подумали, что он тоже ранен, и решили унести его. Но жена не подпускала к нему никого. Ее словно подменили: движения стали беспорядочными, торопливыми, и ей удалось заставить их уйти — столько силы и молящего страха было в ее глазах. Недоуменно покачивая головой, рабочие повернули обратно. Немного помедлив, переводчик побрел за ними, а женщина глядела им вслед, пока они не затерялись в лабиринте могил. Тогда она присела на ступеньку блиндажа и стала ждать.

Надвинулись сумерки, и Тидеман совсем притих. Он лежал на земле, как тогда, и звон колоколов, возвещавших вечернюю благодарственную молитву, плыл над барачным лагерем. Но женщина продолжала недвижно сидеть.

Наконец Тидеман пошевелинулся. Он попробовал приподняться, но не хватило сил. Через какое-то время снова попробовал. Жена не помогала ему. Она лишь забралась поглубже в темноту блиндажа.

Тидеман пополз по земле. Руками расштал кусок деревянной обшивки. Он снова попытался встать на ноги, но опять не получилось. Он сидел и непрерывно разглаживал ладонями траву. Он поднял голову и медленно стал поворачивать ее — вправо, влево. И это длилось довольно долго.

Какая-то птица запела над головами этих двух людей. Руки Тидемана успокоились.

— Анна... — проговорил он, слегка удивившись.

Жена все еще молчала. Но когда она взяла его под руку, чтобы увести, ее лицо вдруг передернулось и, казалось, вот-вот распадется на части. Раз-другой она сильно качнулась.

Через несколько недель Тидеман мог вновь заняться своим крестьянским двором. Его жена все время отлично вела хозяйство: стадо рогатого скота пополнилось четырнадцатью телками, и, кроме того, она прикупила луг под выпас и несколько пахотных участков.

История любви Аннеты

Аннета Штоль выросла в маленьком университетском городе в Средней Германии. Это была свежая, юная и смешливая девушка со светлым оттенком лица. Школу она посещала без особого рвения и питала слабость к сладостям и кинофильмам. Ее другом детства был Герхард Егер, худой и долговязый мальчик, года на три постарше ее, большой любитель книг и серьезных разговоров.

Они были соседями, и их родители дружили. Так и получилось, что оба выросли вместе, как брат и сестра. Ее приключения были и его приключениями: заброшенные сады, извилистые улочки, воскресные дни с колокольным звоном, летние луга, сумерки, звезды, душистый воздух и напряженное, неизведанное очарование юных лет — все это было у них общим.

Позже их жизнь пошла по-другому. Девушка, не по годам взрослая и хорошенькая, обрела холодное самообладание шестнадцатилетней кокетки. Из открытого и такого знакомого сада детского товарищества она вдруг попала в область неясных и захватывающих тайн. Молодой Герхард Егер, еще недавно бывший ее старшим другом и защитником ее детства, теперь стал казаться ей беспомощным, намного более молодым, чем она сама, и даже почти смешным в своей нерешительной задумчивости. Ей нравилось только то, что шло гладко и без препятствий, и было нетрудно предсказать ее дальнейшее бытие. Оно представлялось вполне определенным, мирным и совершенно обыденным, с респектабельным супругом и здоровыми детьми.

Когда Герхард сдал университетские экзамены за первый семестр, они уже стали чужими друг другу.

Потом началась война. Весь городок заразился всеобщим лихорадочным возбуждением. С каждым днем все большее число абитуриентов заменяло пестрые студенческие фуражки на серые полковые шапки добровольцев, и на их мальчишеских лицах уже появилось выражение какой-то отрешенности, они выглядели серьезнее, старше, но и прекраснее в своей юношеской готовности принести себя в жертву. И все же они были еще слишком близки к школьным партам, к гребному клубу и вечерним эскападам — слишком близки к мирным временам, чтобы сколько-нибудь отчетливо понимать, что все это значит и куда они идут.

Герхард Егер оказался в числе первых добровольцев. Спокойного,

неуверенного в себе, задумчивого юношу словно подменили. Казалось, он пылает каким-то внутренним огнем, правда, еще весьма далеким от необузданной восторженности университетских профессоров, охваченных военным угаром. Он и его товарищи видели в войне нечто большее, чем просто борьбу и самозащиту; для них она была великим прорывом в будущее, призванным смести устаревшие идеалы самодовольного и упорядоченного бытия, омолодить состарившуюся жизнь общества.

Воскресным днем они все вместе отправились на фронт. На вокзале собралось множество плачущих, взволнованных и ликующих друзей и родственников. Сюда пришел почти весь город. Везде были цветы, ветки со свежей зеленью торчали из стволов винтовок, играл военный оркестр, повсюду раздавались крики и призывы. Едва поезд тронулся, как Герхард Егер вдруг увидел на перроне Аннету, она шла рядом с окном его купе и махала рукой кому-то в другом вагоне. Он схватил ее за руку.

— Аннета...

Она рассмеялась и бросила ему остаток своих цветов.

— Привези мне что-нибудь приятное из Парижа!

Он кивнул, но уже ничего не мог ответить — поезд убыстрял ход, и над вокзалом стоял гул песен и звонкий грохот духового оркестра. Белое, трепыхавшееся на ветру летнее платье девушки было последним воспоминанием, которое он увез с собой.

В первые месяцы Аннета мало что слышала про Герхарда. Потом постепенно и все чаще от него стали приходить письма и открытки полевой почты. Ее это удивляло, она не могла понять, чего это он вдруг так часто пишет ей. Еще меньше она понимала, почему эти письма — и с каждым месяцем все более явственно — посвящены воспоминаниям об их совместном детстве. Она ожидала ярких описаний смелых атак и каждый раз бывала разочарована, читая лишь про то, что ей было хорошо известно и скучно.

В дни сражения во Фландрии бригада Герхарда понесла страшные потери. Через несколько дней его родителям пришло короткое извещение, что из двухсот только он и двадцать семь других пока еще не ранены. Аннета, в свою очередь, получила длинное письмо, в котором Герхард почти страстно пытался воскресить в ее памяти какое-то майское утро и вишню в цвету за обходной галереей собора. Аннета показала письмо Герхарда его отцу. Читая, тот в недоумении качал головой. Им владели более высокие идеалы, и он был бы счастлив, если бы его сын выказал хоть немного геройского духа. Пожав плечами, Аннета отложила это написанное убогим почерком письмо в сторону — она ничего не помнила про это

майское утро.

Тем больше было изумление обоих, когда вскоре после этого они узнали, что в ходе фландрской битвы Герхард проявил такую отвагу, что прямо на поле боя был награжден и повышен в чине.

Вскоре он приехал на побывку домой: крепкий, стройный и загорелый, совсем не такой, каким Аннета могла представить его себе по письмам. В противоположность своему горделиво-болтливому отцу он стал вдвойне серьезен, порою даже как-то по-особенному рассеян и вообще не от мира сего. Оставшись в первый раз с Аннетой наедине, он повел себя довольно странно — битый час почти ничего не говорил, беспомощно озираясь по сторонам, изредка неожиданно за-глады вал ей прямо в глаза, а потом вдруг взял ее за руку и спросил, а не пожениться ли им. И очень упорно, хоть и негромко, продолжал настаивать на своем, даже когда услышал ее возражение, что они, мол, еще слишком молоды. Ему было девятнадцать, а ей не исполнилось и семнадцати.

В ту пору поспешные военные браки или помолвки не считались чем-то необычным, а были как бы составной частью всеобщей экзальтации. Несколько удивленная поначалу, Аннета быстро свыклась с этой мыслью, придя к выводу, что вообще-то действительно очень заманчиво оказаться среди всех своих школьных подруг первой замужней женщиной. Да ей и был вполне по душе этот мужественного вида офицер, в которого превратился некогда мечтательный Герхард ее детства. А большего, пожалуй, и не требовалось. Ее родители, состоятельные, добродушные, к тому же еще и патриоты, дали свое согласие на этот брак, даже обрадовались ему — предстоявшая свадьба давала повод для большого семейного праздника.

Торжество началось в полдень. Часа через два, во время свадебного обеда, принесли экстренный выпуск газеты, где сообщалось о новой крупной победе на Восточном фронте. Отец Герхарда распорядился принести еще и другие газеты и громко зачитал перед собравшимся обществом все корреспонденции на эту тему. Десять тысяч русских взяты в плен! Гости блаженствовали от избытка радостных чувств. Произносились речи, распевались патриотические песни, и Герхард в своем сером мундире являл собой воплощение идеалов, опьянявших их всех.

Священник пожал ему руку, учитель похлопал по плечу, отец призвал его с той же целеустремленностью продолжать бить врага, и все присутствующие по очереди подходили к нему с полными бокалами, чтобы выпить «за победу, славу и удачу в бою». Но Герхард становился все более угрюмым и молчаливым, потом совершенно неожиданно вскочил, поднял

бокал и на глазах у замерших в ожидании гостей так сильно грохнул им по столу, что разбил его вдребезги.

— Вы... — вымолвил он. — Вы... — И потемневшими блестящими глазами оглядел каждого. — Что вы можете знать обо всем этом?.. — И вышел из столовой.

В течение вечера и всей ночи, до крайности взбудораженный, он говорил с Аннетой так, точно хотел удержать что-то такое, что грозило ускользнуть от него, — рассуждал о молодости, о цели жизни. Все время он говорил только о ней, и все-таки ей не раз показалось, что вовсе не она занимает его мысли.

На следующий вечер он уехал обратно на фронт. Но весь день напролет старался оставаться с ней вдвоем. Он был как в бреду. Никого другого не хотел видеть, только бродил с ней по площадям, садам да по прибрежному лугу, пока не пришла пора собираться в путь. Поведение Герхарда казалось ей странным, она даже начала слегка побаиваться его. Прощаясь, он крепко обнял ее и говорил торопливо, заикаясь от спешки, словно многое еще оставалось недосказанным, несделанным. Потом вспрыгнул на подножку уже тронувшегося вагона.

Через четыре недели он пал в бою, и Аннета стала семнадцатилетней вдовой.

Война продолжалась, и годы становились все более кровавыми, наконец в маленьком городе едва ли нашелся бы дом, чьи обитатели не носили траурных повязок; а судьба Аннеты, о которой на первых порах довольно часто говорили, померкла на фоне еще более жестоких испытаний, выпавших на долю семейств, где оплакивали и отцов, и сыновей. И ее печаль постепенно отошла. Она была еще слишком молода, и немногие дни, что они провели вместе, были для нее недостаточны, чтобы всерьез считать Герхарда своим супругом. В ее памяти он остался только другом юности, который, как и многие другие, был убит на войне.

Но всем бросалось в глаза, что теперь в ее жизнь вошла некоторая замкнутость. С бывшими подружками ее, в сущности, ничто не связывало — в ней уже не было прежней девичьей непосредственности. С другой стороны, она не могла причислить себя и к кругу взрослых — в ней оставалось еще слишком много от все той же девичьей непосредственности. Вот и вышло, что она не знала толком, как себя вести. Слишком многое произошло и слишком быстро прошло.

Но события последних лет не оставляли ей времени на раздумья. С утра до вечера она работала помощницей сестры милосердия в одном из госпиталей. Водоворот времени захлестнул всех и вся.

А потом перемирие, революция, пора путчей, кошмар инфляции, и, наконец, когда все это кончилось, Аннета пришла в себя, она не без некоторого удивления обнаружила, что стала двадцатипятилетней женщиной, а жизнь ее так ничем и не обогатилась. Ибо о Герхарде она теперь уже почти совсем не вспоминала.

Вскоре умерли ее родители. Их состояние настолько поубавилось, что Аннета была рада получить место медсестры в одном северогерманском городе. Там она через несколько месяцев познакомилась с мужчиной, который стал ухаживать за ней и просил выйти за него. Сначала она колебалась, но потом и сама прониклась к нему симпатией, и был назначен день свадьбы.

Тут-то, казалось, ей бы и зажечь счастливой жизнью, но она почему-то потеряла покой. Что-то в ней — она и сама не знала что — заставляло ее страшиться будущего. Она ловила себя на том, что вдруг впадала в задумчивость, рассеянно слушала заговаривавших с нею людей. Мысли туманились, сгущались в мрачную, смутную меланхолию. По ночам она беспричинно просыпалась со слезами на глазах. Потом пыталась преодолеть этот постепенно выросший перед нею и непонятный барьер каким-то неистово страстным стремлением научиться дарить нежность другому.

Иногда, сидя одиноко в своей комнате, она подолгу глядела в окно на голые, серые стены домов напротив, и ей начинало казаться, будто эти стены рассыпаются, превращаются в легкую, прозрачную дымку, за которой распахиваются ворота, а дальше видны узкие улицы, двускатные крыши, летние луга и запущенные, нагретые солнцем сады, — и тогда ее охватывала острая тоска по родным местам. Наконец она убедилась в необходимости съездить домой, иначе ее тяжелое состояние не пройдет. Это только тоска по родине, думала она, и, чтобы успокоиться, надо вернуться туда и увидеть все снова.

И вот в сопровождении жениха она отправилась на несколько дней в родной город.

Они приехали вечером. Аннета была очень взволнована. Едва разложив свои вещи в гостинице и оставив там жениха, она ушла.

Она стояла перед зданием, некогда бывшим ее отчим домом. Забежала в сад и разволновалась еще сильнее. Сияла луна, и крыши поблескивали. Воздух был напоен весенним духом, и она вдруг почувствовала, что перед ней что-то открывается, какое-то новое начало — оно уже поднималось над горизонтом, надвигалось на нее, нужно было что-то вспомнить и точно назвать.

Она шла по лугу. Трава отяжелела от росы. Вишни в цвету мерцали, как свежавыпавший снег. И потом совершенно внезапно — голос. Отрешенный, забытый, затонувший голос, отрешенное, забытое, затонувшее лицо; внутри ее что-то вскрылось, что-то бездыханное, бесконечно далекое, невообразимо усталое, тягостное, печальное, а она ведь уже совсем перестала думать об этом; и теперь это всколыхнулось, стало сильнее, чем когда-либо в прежней жизни. Герхард Егер! И как-то сразу он стал очень любимым, навек утраченным, хотя никогда и не принадлежавшим ей по-настоящему.

Она вернулась в гостиницу оцепенелая, нетвердо держась на ногах. Посмотрела на своего нареченного. До чего ж он был ей чужим! Он стоял перед ней, живой и здоровый, и она почти ненавидела его. С трудом вымолвила несколько необходимых слов. Он хотел объясниться, умолял ее обдумать все снова, обещал ждать. В ответ она только кивала и просила оставить ее одну.

Память о немногих днях супружества с Герхардом теперь обернулась для Аннеты мучительной тайной. Она достала его письма и, рыдая, перечитывала их. Ей удалось разыскать несколько его бывших товарищей, и она без усталости расспрашивала их про все, что они о нем знали. Один из них часто разговаривал с ним, даже в день его гибели. Впервые Аннета услышала, какой в действительности была эта война; впервые осознала, о чем говорил Герхард в ночь перед своим отъездом; впервые поняла, о какой жизни с ней он мечтал. Ему хотелось тихого спокойного прибежища, мирной пристани, хотелось маленького, негаснущего костра любви среди всей этой нескончаемой ненависти, искры человечности среди этого всеобщего взаимоистребления, тепла, доверия, почвы, на которой можно стоять, земли, родины, моста, по которому он мог бы вернуться.

Ее охватили раскаяние и любовь. Она, для которой все это было суетным, мелким тщеславием, легкомысленной склонностью к необычному, маленькой дружбой с примесью удовлетворенного женского кокетства, она, так скоро позабывшая и почти ни разу не вспомнившая его, теперь вдруг начала любить — любить исчезнувшую тень.

Она стала жить в полном уединении. Знакомые пытались переубедить ее, помочь вновь обрести себя. Но это ничего не дало. Если бы она жила с реальным человеком, то, возможно, избавилась бы от этого состояния, но она жила только с воспоминанием.

Она делалась все более странной. Часто, будучи одна в комнате, громко разговаривала сама с собой. Прошло еще немного времени, и она лишилась работы. Позже примкнула к небольшой секте, проводившей

спиритические сеансы. Однажды ей показалось, что она видит Герхарда. Он шел к ней... Так проходили годы... И наступил день, когда ее не стало... Последнее, что она видела, был темный крест оконной рамы, за которым стояло закатное солнце.

Странная судьба Йоганна Бартока

Когда началась война, Йоганн Барток, жестянщик и слесарь-водопроводчик, был уже пять месяцев женат. Его сразу призвали и отправили в какой-то австрийский гарнизон на границе. В день накануне отъезда он привел свои дела в порядок и передал принадлежавшую ему маленькую мастерскую жене и своему подмастерью. Ему даже удалось получить еще два заказа. Всем этим пришлось заниматься до четырех или пяти часов пополудни; но зато он был доволен, зная, что по крайней мере до Рождества все будет в порядке. Перед вечером он надел свой лучший костюм и вместе с женой отправился к фотографу. До сих пор они все никак не могли набраться духу и пойти сфотографироваться. Оба тяжело трудились, чтобы как-то свести концы с концами, и подобные расходы считали безрассудной тратой денег. Но теперь они посмотрели на это по-другому. На следующее утро фотограф принес снимки прямо на вокзал. Они оказались чуть побольше, чем этого ожидал Барток. Он попробовал вырезать оба лица так, чтобы они уместились в крышке его карманных часов, но это не удалось; тогда он достал перочинный нож, отрезал свое изображение, а себе оставил только изображение жены. Оно подошло в самый раз.

Вскоре полк Бартока перебросили на фронт. Зимой 1914 года они пошли в наступление и ввязались в ожесточенный ночной бой, в ходе которого противник обходным фланговым маневром окружил три роты. Они оборонялись весь день, а когда боеприпасы кончились, им пришлось сдаться. Барток был в одной из этих рот. Несколько месяцев пленные провели в сборном лагере. Занятый своими мыслями, Барток с утра до вечера торчал в избе. Очень ему хотелось знать, как там жена, сумела ли обеспечить себя новыми заказами, чтобы прокормиться. Но в лагерь не приходило никаких писем, и Бартоку не оставалось ничего другого, как самому посылать домой письма с различными советами и адресами людей, которым вдруг да понадобится новая железная решетка или, например, ватерклозет. В начале апреля был сформирован и доставлен на побережье отряд в 1800 человек. В их числе был Барток и его товарищи. Их погрузили на пароход, и тут разнесся слух, будто их отправляют в какой-то лагерь в Восточной Азии.

В первые дни они почти все страдали от морской болезни. А потом — кто как мог — расположились в душном темном трюме и курили, пока еще

оставались сигареты. По очереди Они подходили к маленьким иллюминаторам и недолго смотрели на море. Вода была голубая и прозрачная, и порой им удавалось углядеть белые крылья или силуэт большой рыбыны.

Шли дни, и охрана постепенно утратила бдительность. Пленные заметили это и замыслили напасть на экипаж и взять власть на корабле в свои руки. Нескольким из них удалось разведать, где хранится оружие, другие тайно раздобыли нагели, канаты и ножи.

И вот вскоре, ночью, когда сильно штормило, все и началось. Три высоченных унтер-офицера возглавили отряд, в который входил и Барток. Как бы слоняясь без дела, они подошли к трапу кают-палубы и внезапно, как кошки, набросились на остолебеневших охранников, бессильных оказать им сопротивление. В считанные секунды они взломали люки и очутились на палубе.

Часть команды спала, и ее захватили без труда, остальные вынуждены были сдаться. Только капитан и два офицера забаррикадировались и открыли огонь. Трое пленных были убиты выстрелами из револьверов. Но когда мятежники выкатили пулемет, тяжело раненный капитан тоже сдался.

Военнопленные решили пробиться в какой-нибудь нейтральный порт. Оружия и боеприпасов у них было вдоволь, а некоторые в прошлом были моряками. Бывший судовой офицер взял на себя командование. Каждый день проводилась боевая подготовка, и Барток выучился на пулеметчика. По расчетам нового командира корабля, до ближайшего порта оставалась полная неделя ходу. Но получилось иначе: на четвертые сутки на горизонте обозначился низкий серый корпус военного корабля. Дымя трубами, он устремился прямо на пароход с пленными.

Они попытались уйти, но не хватило скорости. Тогда они привели все в полную готовность, чтобы защищаться до наступления ночи, а затем под прикрытием тумана и темноты спастись бегством.

Но этот замысел оказался безуспешным: имея одни лишь винтовки, с крейсером не потягаешься. Уже через час многие были убиты, остальным пришлось поднять белый флаг. Когда первая шлюпка, спущенная с крейсера, подошла к борту судна, командующий офицер застрелился. Командир крейсера считал сдавшихся военнопленных не солдатами, а мятежниками, и их привезли в штрафную колонию на каком-то острове. Группу зачинщиков расстреляли, в том числе Михаэля Хорвата, друга Бартока. Перед расстрелом он передал Бартоку свои часы и бумажник.

— Желаю счастья, Иоганн, — сказал он и на прощание пожал ему руку. — Умру ли я так или этак — один черт! Все равно от смерти не

уйдешь. Но будем надеяться, что ты пробьешься. Если застанешь мою мать живой, передашь ей эти вещи, хорошо?

Всех признали виновными в мятеже. Каждого пятого приговорили «пожизненно», остальным дали по пятнадцать лет принудительных работ. Когда они рассчитывались, Бартоку повезло — он получил только пятнадцать лет.

«Пятнадцать лет», — подумал он в первый вечер, улегшись в углу раскаленного дневным зноем сарайчика из гофрированной жести. «Пятнадцать лет. Сейчас мне тридцать два. Значит, тогда будет сорок семь». Он извлек снимок жены из крышки часов и долго смотрел на него. Потом покачал головой и попытался заснуть.

Их труд был тяжким, а климат убийственным. В первый же год умерли сто восемьдесят человек. Во второй — сто десять. На четвертом году Барток сдружился с Вильчеком, крестьянином из Баната. На шестом похоронил его. На седьмом лишился передних зубов. На восьмом узнал, что война давным-давно окончилась. На девятом поседел. На десятом шестнадцать человек сбежали, но их опять поймали. На двенадцатом никто уже больше не говорил о возвращении домой. Весь мир словно съежился до размеров этого островка, жизнь сводилась к мучительному труду и глубокому сну, тоска по родине угасла, боль притупилась, воспоминания разрушились — над бессмысленными остатками этих живых существ, которые ежевечерне ложились умирать, но все же утром опять просыпались, властвовали только рослые и грозные охранники, да еще лихорадка и отчаяние.

Когда надсмотрщик сказал им, что они свободны, то сначала они этому не поверили. До самого последнего дня ожидали, что он придет и скажет: придется, мол, отсидеть еще пять лет. Настолько они уже не могли себе даже представить, что это вообще значит — быть свободным. Они собрали свои пожитки и строем спустились в порт. Барток в последний раз оглянулся. Там, перед сарайчиками, стояли оставшиеся в живых товарищи, которых приговорили к пожизненному заключению и которым предстояло остаться здесь. Они молча глядели вслед уходившим. Перед отходом Барток спросил у двоих «пожизненных», не прислать ли им чего из дому. «Заткнись!» — ответил один из них и отошел в сторону. Второй уже совсем ничего не понимал. Но первый все-таки пробежал несколько шагов за ними и крикнул: «Мы тоже уедем!» Остальные не шелохнулись. Просто стояли и глазели.

По дороге к кораблю Барток достал свои часы. Фотография жены сохранилась, но совершенно выцвела, и ничего узнаваемого на ней не

осталось. Но он вынул ее из крышки, поднес близко к глазам и попытался вспомнить прошлое. Такого с ним давно уже не было, и через минуту у него голова пошла кругом.

Высадившись на берег, он с несколькими земляками поехал дальше. Они узнали, что их родина принадлежит теперь стране, с которой они воевали. По мирному договору эти земли пришлось отдать победителям. Этого они не понимали, но пока что решили смириться. Ибо для них за эти пятнадцать лет весь мир изменился. Они видели дома, улицы, автомобили, людей, они слышали знакомые названия, но все было чужим. Города разрослись, уличное движение пугало, и им было трудно понять, что же творится кругом. Все как-то слишком ускорилося, а они привыкли думать только очень медленно.

Наконец Барток прибыл в родной город. От волнения он едва переставлял ноги, опираясь на палку. Сильно дрожали колени. Он нашел дом, где когда-то жил. Мастерская осталась, но никто не знал хоть что-нибудь про его жену. За последние десять лет право аренды мастерской несколько раз переходило из рук в руки. Видимо, жена давно уже выехала отсюда. Барток начал повсюду разыскивать ее. Наконец ему сказали, что теперь она предположительно живет в большом городе на западе страны. И вот он отправился в этот город, название которого ему сообщили. Там он звонил во многие двери, входил в десятки парадных, спрашивал везде. Не получив ни от кого нужных сведений, измотанный и потерявший всякую надежду, он уже хотел было уехать, но тут его осенила идея. Он повернулся и назвал чиновнику имя своего бывшего подмастерья. Чиновник снова заглянул в справочник и нашел его. Семь лет назад жена вышла за него замуж. Барток кивнул. Теперь ему стало ясно, почему он не получал писем, почему никогда не слышал про родной дом. Просто они посчитали, что он умер.

Медленно он поднялся вверх по лестнице и позвонил. Дверь открыл пятилетний ребенок. Потом появилась его жена. Он посмотрел на нее и, не зная точно, она ли это, не решился заговорить.

— Я Иоганн, — наконец сказал он.

— Иоганн! — Она отступила на шаг и грузно рухнула в кресло. — Господи, Святая Богородица! — Она расплакалась. — Но ведь мы же еще тогда получили извещение... извещение... что ты умер!..

Она встала, выдвинула ящик и дрожащими руками стала в нем рыться, будто ее жизнь зависела от того, найдется ли это извещение.

— Да ладно тебе, оставь это. — Барток с отсутствующим взглядом прошелся по кухне. — Это твой ребенок?

Жена кивнула.

— Есть еще дети?

— Двое всего...

— Двое, значит... — машинально повторил он. Затем сел на диван и уставился глазами в пол.

— Что же теперь будет, Иоганн? — спросила она вся в слезах.

Барток поднял глаза. Рядом, на низком комод, стояла небольшая фотография в золоченой рамке. Тот самый снимок, который они заказали перед тем, как он стал солдатом. Он взял его и долго на него глядел. Потом провел кончиками пальцев по лбу.

— Пять месяцев мы были вместе... Ведь так?

— Да, Иоганн...

— А теперь?

— Семь лет, — осторожно проговорила она. — Только ты не уходи!

— Нет, уйду, — сказал он и взял свою фуражку.

— Останься хотя бы до ужина, — попросила она, — до прихода Альберта.

Он отрицательно покачал головой.

— Нет, нет... так лучше. Уж ты сама разбирайся с этим делом. Так оно будет правильно.

Выйдя на улицу, он немного постоял перед домом. Потом пошел обратно на вокзал и уехал в родной город. Там он решил подыскать себе работу и начать все сначала.

notes

Примечания

1

Внимание! (*фр.*)

Понял (*фр.*).

3

Добрый день, товарищ (фр.).

Населенный пункт под Верденом. Место ожесточенных сражений в 1916 г. Здесь в 1932 г. погребены костные останки более 300 000 французских солдат. — *Примеч. пер.*

Слава (*фр.*).

Победа (*фр.*).